

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Ф28

John Fowles
THE MAGUS

Copyright © J.R. Fowles, 1966, 1977
This edition is published by arrangement
with Aitken Alexander Associates Ltd.
and the Van Lear Agency LLC

Перевод с английского *Бориса Кузьминского*

Оформление серии *Марии Чупровой*

Фаулз, Джон.
Ф28 Волхв / Джон Фаулз ; [перевод с английского Б. Кузьминского]. — Москва : Эксмо, 2025. — 640 с. — (Жемчужина. Классика тихой роскоши).

ISBN 978-5-04-210596-8

Джон Фаулз — один из наиболее выдающихся и популярных британских писателей, современный классик, автор «Коллекционера» и «Женщины французского лейтенанта».

«Волхв» служит Фаулзу своего рода визитной карточкой. В этом романе на затерянном греческом острове загадочный «маг» ставит беспощадные психологические опыты на людях, подвергая их пытке страстью и небытием. Реалистическая традиция сочетается в книге с элементами мистики и детектива. Эротические сцены — возможно, лучшее из написанного о плотской любви во второй половине XX века.

**УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44**

ISBN 978-5-04-210596-8

© Кузьминский Б., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2025

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Подобное душевное безразличие, вне всякого сомнения, отличает только закоренелых развратников.

*Де Сэг.
Несчастливая судьба добродетели*

1

Я родился в 1927 году — единственный сын небогатых англичан, которым до самой смерти не удавалось вырваться за пределы тени уродливой карлицы, королевы Виктории, причудливо простершейся в грядущее. Закончил школу, два года болтался в армии, поступил в Оксфорд; тут-то я и начал понимать, что совсем не тот, каким мне хотелось бы быть. Что генеалогия моя никуда не годится, я выяснил давным-давно. Отец — бригадный генерал, причем вовсе не благодаря выдающимся профессиональным качествам, а просто потому, что достиг нужного возраста в нужный момент; мать — типичная жена будущего генерал-майора. А именно: она никогда ему не перечила и вела себя так, будто муж следит за ней из соседней комнаты, даже если он находился за тысячи миль от дома. Во время войны отец наезжал редко, и мало-мальски привлекательный образ, выдуманный мной, пока он отсутствовал, всякий раз приходилось подвергать генеральному пересмотру (каламбур неуклюжий, но точный) в первые же дни его побывки.

Как любой человек не на своем месте, он жить не мог без банальщины и мелочной показухи; мозги ему заменяла кольчуга отвлеченных понятий: Дисциплина, Традиции, Ответственность... И когда я осмеливался возразить ему — что бывало очень редко, — он принимался утешить меня сими священными словами, как какого-нибудь зарвавшегося лейтенантика. А если жертва и тут не падала замертво, давал волю рыжему цепному псу — гневу.

По преданию, наши предки эмигрировали из Франции после отмены Нантского эдикта — благородные гугеноты, дальние родственники Оноре д'Юрфе, автора «Астреи» (бестселлера семнадцатого столетия). С тех пор никто в семье — исключая постоянного корреспондента Карла II Тома Дюрфея¹, родство с которым не менее сомнительно, — не проявлял склонности к творчеству: поколения военных, священников, моряков, помещиков сменяли друг друга, разнясь покровом одежд, сходясь в разорительном пристрастии к азартным играм. Двое из четверых сыновей моего деда не вернулись с Первой мировой; третий выбрал самый пошлый способ разделаться с наследственностью и сбежал в Америку от карточных долгов. Отец — младший отпрыск, обладающий всеми достоинствами, какие привыкли приписывать старшим, — всегда говорил о нем как о мертвом, но как знать, может, он еще жив, а у меня по ту сторону Атлантики имеются двоюродные братцы и сестрички.

В старших классах я понял, что жизнь, которая мне по душе, не вызовет в родителях ничего, кроме огульного неприятия, а изменить их взгляды, увы, невозможно. Я делал успехи в английском, публиковал в школьном журнале стихи под псевдонимом, считал Д. Г. Лоуренса самой выдающейся личностью нашей эпохи; родители же Лоуренса, конечно, не открывали, а если и слышали о нем, то лишь в связи с «Любовником леди Чаттерлей». Некоторые их черты — эмоциональную мягкость матери, отцовские приступы безоглядного веселья — еще можно было вынести; но нравилось мне в них совсем не то, чем они сами гордились. И когда Гитлеру пришел конец, а мне исполнилось восемнадцать, они уже стали для меня просто источником средств. Благодарность я им выказывал, но на большее меня не хватало.

Я вел двойную жизнь. В школе у меня была не слишком выгодная в военное время репутация эстета и циника. Но Традиции и Жертвенность гнали меня в строй. Я уверял всех — и директор школы вовремя поддержал меня, — что университет может и подождать. В армии двойная жизнь продолжалась: на людях я играл тошнотворную роль сына бравого генерала Эрфе, а в одиночестве лихорадочно поглощал толстые антологии издательства «Пингвин» и тонкие поэтические сборники. Как только смог, демобилизовался.

¹ Томас Дюрфей (1653–1723) — модный литератор, состоял в переписке с множеством сильных мира сего.

В Оксфорд я поступил в 1943 году. На второй год учебы в колледже Магдалины, после летних каникул, во время которых я нанес родителям наикратчайший визит, отец получил назначение в Индию. Мать он забрал с собой. Самолет, на котором они летели — груда железных дров, пропитанных бензином, — попал в грозу и разбился в сорока милях восточнее Карачи. Оправившись от удара, я почти сразу почувствовал облегчение, вздохнул наконец свободно. Ближайший родственник, брат матери, жил на своей ферме в Родезии, и никакие семейные узы теперь не мешали развитию того, что я считал своим истинным «я». Может, сыновняя почтительность и была моим слабым местом, зато в новых веяниях я разбирался как никто.

Или думал, что разбирался, — вместе с другими умниками, моими приятелями по колледжу. Мы организовали небольшой клуб под названием *Les Hommes Revoltes*¹, пили очень сухой херес и (в пику шерстяным лохмотьям конца сороковых) нацепляли темно-серые костюмы и черные галстуки. Собираясь, толковали про бытие и ничто², а свой изощренно-бессмысленный образ жизни называли экзистенциалистским. Невеждам он показался бы вычурным или жлобским; до нас не доходило, что герои (или антигерои) французских экзистенциалистских романов действуют в литературе, а не в реальности. Мы пытались подражать им, принимая метафорическое описание сложных мировоззренческих систем за самоучитель правильного поведения. Наизусть зазубривали, как себя вести. Большинству из нас, в духе вечного оксфордского дендизма, просто хотелось выглядеть оригинальными. И клуб давал нам такую возможность.

Я приобрел привычку к роскоши и жеманные манеры. Оценки у меня были средненькие, а амбиции чрезмерные: я возомнил себя поэтом. На деле ничто так не враждебно поэзии, как безразлично-слепая скука, с которой я тогда смотрел на мир в целом и на собственную жизнь в частности. Я был слишком молод, чтобы понять: за цинизмом всегда скрывается неспособность к усилию — одним словом, импотенция; быть выше борьбы может лишь тот, кто по-настоящему боролся. Правда, воспринял я и малую толику сократической честности, полезной во все времена, — именно она

¹ «Бунтующие люди» (фр.). Аллюзия на эссе Альбера Камю «Человек бунтующий».

² «Бытие и ничто» (1943) — библия французского экзистенциализма, философский трактат Ж. П. Сартра.

стала важнейшим вкладом Оксфорда в нашу культуру. Благодаря ей я с грехом пополам усвоил, что бунт против прошлого — это еще не все. Как-то я наговорил друзьям множество гадостей об армии, а вернувшись к себе, вдруг подумал: то, что я с легкостью высказываю вещи, от которых моего покойного отца хватила бы кондрашка, вовсе не означает, что я избавился от его влияния. Циником-то я был не по природе, а по статусу бунтаря. Я отверг то, что ненавидел, но не нашел предмета любви и потому делал вид, что ничто в мире любви не заслуживает.

Всесторонне подготовленный к провалу, я вступил в большую жизнь. В отцовской кольчуге абстракций не было звена под названием Бережливость; его счет у Лэдброка¹ достигал комически больших размеров, а траты были грандиозны, ибо, ища популярности, он восполнял недостаток обаяния избытком спиртного. Того, что осталось после нашествия законников и налоговых инспекторов, на жизнь явно не хватало. Куда бы я ни пытался устроиться — в дипкорпус, на гражданскую службу, в министерство колоний, в банки, в торговлю, в рекламу, — любая работа казалась слишком пресной и элементарной. Я прошел несколько собеседований. И коль скоро не собирался проявлять того щепоточного энтузиазма, которого у нас требуют от начинающего чиновника, никуда не был принят.

В конце концов, как и до меня — многие выпускники Оксфорда, я написал по объявлению в «Таймс эдьюкейшнл саплмент»² и поехал в маленькую школу на востоке Англии; там меня допросили с пристрастием и предложили место. Позже выяснилось, что кроме меня на него имелось только два претендента, оба из Редбрика³; семестр начинался через три недели.

Инкубаторские детки, мои ученики, были из рук вон плохи; тесный городок — кошмарен; но что воистину невозможно было вынести — так это учительскую. На урок я шел чуть ли не с облегчением. Скука, мертвящая предрешенность годового жизненного цикла тучей нависала над нами. То была скука настоящая, а не хандра, какую я напускал на себя, следуя моде. Она порождала лицемерие, ханжество, порождала бессиль-

¹ Крупная тотализаторная фирма в Лондоне.

² Приложение к газете «Таймс» по проблемам образования.

³ Редбрик (red brick, красный кирпич) — ироническое название провинциальных университетов, готовящих дипломированные кадры для местных нужд.

ный гнев стариков, знающих, что потерпели крах, и молодых, ожидающих такого же краха. Старшие учителя напоминали обреченных казни; при виде многих из них кружилась голова, словно ты заглядывал в бездонную дыру тщеты человеческой... по крайней мере, так было со мной к концу первого года работы.

Нет, подобная Сахара — не для моих прогулок; чем острее я ощущал это, тем яснее становилось: оцепенело-напыщенная школа — лишь игрушечный макет целой страны; бежать надо от обеих. Вдобавок там ошивалась девушка, которая мне надоела.

По окончании семестра я убедился, что мои размышления встречены сочувственно. Я не раз намекал на свою непоседливость, из чего директор живо заключил, что я собираюсь то ли в Америку, то ли в доминионы.

— Я еще не решил, господин директор.

— А ведь мы могли бы сделать из вас прекрасного учителя, Эрфе. Да и вы, знаете ли, принесли к нам новые веяния. Ну что теперь об этом говорить.

— Боюсь, вы правы.

— Не вижу ничего хорошего во всех этих заграницах. Мой вам совет: оставайтесь. А впрочем... *vous l'avez voulu, Georges Danton. Vous l'avez voulu*¹.

Ошибка красноречивая.

В день моего отъезда лил дождь. Но я был полон радостного нетерпения — такое чувство, словно у тебя отрастают крылья. Я не знал, куда отправляюсь, но знал, что буду искать. Чужую землю, чужих людей, чужой язык; и хотя тогда я не мог облечь это в слова — чужую тайну.

2

В начале августа, вспомнив, что работу за границей можно найти через Британский совет, я отправился на Дэвистрит. Приняла меня деловая леди, ушибленная проблемами культуры, — ее лексика и манера говорить обличали выпускницу Роудина². Конечно, важно, доверительно сообщила она, чтобы

¹ «Вы этого хотели, Жорж Дантон. Вы этого хотели» (*фр.*). Директор неверно цитирует крылатую фразу из пьесы Мольера «Жорж Данден».

² Роудин-скул — привилегированная женская школа близ Брайтона.

за рубежом «нас» представляли самые достойные, но давать объявление о каждой вакансии, беседовать с претендентами — такая волянка; да и линия сейчас, если честно, на сокращение экспорта кадров. После всех этих предисловий я узнал, что рассчитывать приходится лишь на место школьного учителя английского языка — это вас не очень пугает?

— Очень, — ответил я.

В конце августа, почти не ожидая результата, я дал объявление, каких навалом в любой газете: лаконично сообщил, что готов заниматься чем и где угодно, и получил несколько откликов. Кроме брошюрок с напоминаниями, что судьба моя в руке Божьей, пришло три трогательных послания от прохиндеев, жаждущих поправить дела за мой счет. И еще одно, предлагавшее нестандартную и высокооплачиваемую работу в Танжере¹ (владею ли я итальянским?), но мое письмо туда осталось без ответа. Надвигался сентябрь; я начал терять надежду. Скоро, припертый к стенке, совсем отчаюсь и снова примусь перелистывать тлетворные страницы «Эдьюкейшнл саплмент» — бесконечный блеклый список бесконечных блеклых занятий. И однажды утром я вернулся на Дэвис-стрит.

Нет ли у них чего-нибудь в Средиземноморье? Моя знакомая с угрожающей готовностью ринулась за картотечным ящиком. Сидя в приемной под кирпично-помидорным Мэтью Смитом², я видел себя в Мадриде, в Риме, или в Марселе, или в Барселоне... даже в Лиссабоне. За границей все иначе: там не будет учительской, и я вплотную примусь за стихи. Вернулась. Безумно жаль, но хорошие места уже заняты. Вот все, что осталось. Она показала мне запрос из Милана. Я покачал головой. Она взглянула сочувственно.

— Ну, тогда самое последнее. Мы его только что напечатали. — Протянула вырезку.

ШКОЛА ЛОРДА БАЙРОНА, ФРАКСОС

Школе лорда Байрона (Фраксос, Греция) с октября месяца требуется младший преподаватель английского языка. Семейных и не имеющих высшего образования просят не беспокоиться. Знание новогреческого не обязательно. Жалованье 600 фунтов

¹ Танжер считается Меккой гомосексуалистов.

² Мэтью Смит (1870 — 1959) — художник, близкий к модернизму.

в год в любом эквиваленте. Контракт заключается на два года с последующим возобновлением. Плата за питание взимается в начале и в конце контрактного срока.

Прилагаемый проспект конкретизировал объявление. Фрак-сос — остров в Эгейском море, милях в восьмидесяти от Афин.

Школа лорда Байрона — «один из известнейших пансионатов Греции, который ориентируется на традиции английского среднего образования», — отсюда название. Ученикам и преподавателям, похоже, предоставляются все мыслимые удобства. Учитель дает не более пяти уроков в день.

— У этой школы великолепная репутация. А сам остров — просто рай земной.

— Вы что, там бывали?

Ей было лет тридцать. Прирожденная старая дева, до того непривлекательная, что в своих модных тряпках и обильном макияже выглядит просто жалкой, будто незадачливая гейша. Нет, она не бывала, но все так говорят. Я перечитал объявление.

— Что ж так поздно спохватились?

— Ну, если мы правильно поняли, они уже приглашали кого-то. Не через нас. В итоге — скандал за скандалом. — Я снова заглянул в проспект. — Вообще-то мы раньше с ними не работали. Так что сейчас просто оказываем им любезность.

Она искательно улыбнулась; передние зубы явно крупноваты. В самых утонченных оксфордских традициях я пригласил ее позавтракать.

Дома я заполнил бланк, который она принесла в кафе, сразу же вышел и опустил его в почтовый ящик. По необъяснимой причуде судьбы в тот же вечер я познакомился с Алисон.

3

Эпоха вседозволенности еще не наступила, и по тем временам я в свои годы имел, по-моему, солидный любовный опыт. Девушкам — пусть и известного пошиба — я нравился; у меня была машина — чем тогда мог похвастаться редкий старшекурсник — и кой-какие деньжата. Я не был уродом; и, что еще важнее, был сиротой — а любой ходок знает, как безотказно это действует на женщин. Мой «метод» заключался в том, чтобы произвести впечатление человека со странностями, циничного

и бесчувственного. А потом, словно фокусник — кролика, я предъявлял им свое бесприютное сердце.

Я не коллекционировал победы, но к концу учебы от невинности меня отделяла по меньшей мере дюжина девушек. Я не мог нарадоваться на свои мужские достоинства и на то, что влюбленности мои никогда не затягивались. Так виртуозы гольфа в душе относятся к игре чуть-чуть свысока. Играешь сегодня или нет — все равно ты вне конкуренции. Большинство романов я затевал на каникулах, подальше от Оксфорда, ибо в этом случае начало нового семестра позволяло под удобным предлогом сбежать с места преступления. Иногда следовала неделя-другая назойливых писем, но тут я запикивал бесприютное сердце обратно, вспоминал об «ответственности перед собой и окружающими» и вел себя как настоящий лорд Честерфилд. Обрывать связи я научился столь же мастерски, как и завязывать их.

Все это может показаться — да и вправду было — холодным расчетом, но двигало мной не столько бессердечие как таковое, сколько самолюбивая уверенность в преимуществах подобного образа жизни. Облегчение, с каким я бросал очередную девушку, так легко было принять за жажду независимости. Пожалуй, в мою пользу говорит лишь то, что я почти не врал: прежде чем новая жертва разденется, считал своим долгом выяснить, сознает ли она разницу между постелью и алтарем.

Но позже, в Восточной Англии, все перепуталось. Я начал ухаживать за дочерью одного из старших учителей. Она была красива английской породистой красотой; как и я, ненавидела захолустье и охотно отвечала мне взаимностью; я с опозданием понял, что взаимность небескорыстна: меня собирались женить. Я запаниковал: элементарная телесная потребность грозила сломать мне жизнь. Я даже едва не капитулировал перед Дженет, круглейшей душой, которую не любил и не мог полюбить. С оскоминой вспоминаю бесконечную июльскую ночь нашего прощания: попреки и завывания в машине на морском берегу. К счастью, я знал — и она знала, что я знаю, — что она не беременна. В Лондон я ехал с твердым намерением отдохнуть от женщин.

Большую часть августа в квартире этажом ниже той, которую я снимал на Рассел-сквер, никто не жил, но как-то в воскресенье до меня донеслись шаги, хлопанье дверей, потом музыка. В понедельник я встретил на лестнице двух девушек, не пробудив-

ших во мне энтузиазма, и, спускаясь, отметил, что в разговоре они произносят открытое «е» как закрытое — на австралийский манер. И вот наступил вечер того дня, когда я завтракал с мисс Спенсер-Хейг, — вечер пятницы.

Часов в шесть в дверь постучали. Это была та из виденных мной девушек, что покороенастее.

— Ой, привет. Меня зовут Маргарет. Я внизу живу. — Я пожал ее протянутую руку. — Очень приятно. Слушай, у нас тут выпивон намечается. Не присоединишься?

— Понимаешь, я бы с радостью, но...

— Все равно не уснешь — шуму будет!

Обычное дело: лучше уж пригласить, чем потом извиняться за неудобство. Помедлив, я пожал плечами.

— Спасибо. Приду.

— Отлично. В восемь, ладно? — Она пошла вниз, но обернулась. — С девушкой придешь или как?

— Я сейчас один.

— Ничего, мы тебе что-нибудь подыщем. Пока.

И ушла. Лучше бы я не соглашался.

Услышав, что народ собирается, я выждал немного и спустился, надеясь, что все уродины — а они всегда приходят первыми — уже распределены. Дверь была нараспашку. Я пересек маленькую прихожую и встал в дверях комнаты, держа наготове подарок — алжирское красное. Я пытался отыскать среди гостей девушек, встреченных на лестнице. Громкие голоса с австралийским акцентом; шотландец в юбке, несколько уроженцев Карибского бассейна. Компания явно не в моем вкусе, и я уже собирался потихоньку смыться, как вдруг кто-то вошел и остановился позади меня.

Девушка примерно моего возраста, с рюкзаком за плечами и с тяжелым чемоданом. На ней был светлый плащ, мятый и потершийся. Лицо загорело до черноты; чтобы добиться такого загара, нужно неделями жариться на солнце. Длинные волосы выгорели почти добела. Смотрелись они непривычно, ведь в моде была короткая стрижка, девушки всюду canali под мальчиков; а вокруг этой витал аромат Германии, Дании — бродяжий дух с налетом извращения, греха. Отступила в глубину прихожей, подзывая меня. Давно я не видел такой натянутой, лживой, вымученной улыбки.

— Пожалуйста, отыщите Мегги и позовите ее сюда.

— Маргарет?

Она кивнула. Я продрался сквозь толпу и поймал Маргарет на кухне.

— А, явился. Привет.

— Тебя там зовут. Девушка с чемоданом.

— Здрасьте пожалуйста! — Переглянулась с какой-то женщиной. Запахло скандалом. Она поколебалась и поставила большую бутылку пива, которую собралась открывать, на стол. Ее мощные плечи расчистили нам путь назад. — Алисон! Ты же обещала через неделю.

— У меня деньги кончились. — Бродяжка посмотрела на старшую девушку бегающим, настороженно-виноватым взглядом. — Пит вернулся?

— Нет. — И, предостерегающе понизив голос: — Но здесь Чарли и Билл.

— Ах, черт. — Оскорбленное достоинство. — Умру, если не приму ванну.

— Чарли ее всю забил пивом, чтоб охладилось.

Загорелая поникла. Тут вмешался я:

— У меня есть ванна. Наверху.

— Да? Алисон, познакомься, это...

— Николас.

— Вы правда позволите? Я только что из Парижа. — С Маргарет она говорила почти как австралийка, со мной — почти как англичанка.

— Конечно. Я покажу, где это.

— Сейчас, только возьму что-нибудь переодеться.

В комнате ее встретили приветственными возгласами:

— Ого, Элли! Какими судьбами, подружка?

Рядом с ней оказались два или три австралийца, каждого она чмокнула. Маргарет — толстухи всегда покровительствуют худышкам — живо их растолкала. Алисон вынесла смену одежды, и мы отправились наверх.

— Господи боже, — сказала она. — Эти австралийцы.

— Где путешествовали?

— Везде. Во Франции. В Испании.

Мы вошли в квартиру.

— Надо выгнать из ванны пауков. Выпейте пока. Вот там.

Когда я вернулся, в руках у нее был бокал с виски. Она снова улыбнулась, но через силу: улыбка сразу погасла. Я помог ей

снять плащ. От нее шибало французскими духами, концентрированными, как карболка; светло-желтая рубашка сильно засалилась.

— Вы внизу живете?

— Угу. Вместе снимаем.

Молча подняла бокал. Доверчивые серые глаза — оазис невинности на продажном лице, словно остервенилась она под давлением обстоятельств, а не по душевной склонности. Остервенилась и научилась рассчитывать только на себя, но при этом выглядеть беззащитной. И ее выговор, уже не австралийский, но еще не английский, звучал то в нос, с оттенком хриплой горечи, то с неожиданной солоноватой ясностью. Загадка, живой оксюморон.

— Ты один пришел? Ну, в гости?

— Один.

— Держись тогда за меня сегодня, хорошо?

— Хорошо.

— Зайди минут через двадцать, я управлюсь.

— Да я подожду.

— Нет, лучше зайди.

Мы неловко улыбнулись друг другу. Я вернулся в нижнюю квартиру.

Маргарет вскочила. Похоже, она меня дожидалась.

— Николас, тут одна англичаночка очень хочет с тобой познакомиться.

— Боюсь, твоя подружка меня уже застолбила.

Она уставилась на меня, оглянулась по сторонам, вытолкнула меня в прихожую.

— Слушай, не знаю, как объяснить, но... Алисон, она невеста моего брата. А тут, между прочим, его друзья...

— Ну и?

— У них с ней старые счеты.

— Опять не понимаю.

— Просто не люблю мордобоя. Мне хватило одного раза. — Я притворился идиотом. — Она должна быть верна ему, и друзья об этом позаботятся.

— Да у меня и в мыслях нет!

Ее позвали в комнату. Уверенности, что меня удалось вразумить, у нее не было, но она явно решила, что дальнейшее от нее не зависит.

— Веселая история. Но ты хоть усек, что я сказала?

— Вполне.

Она понимающе взглянула на меня, уныло кивнула и ушла. Я минут двадцать постоял в прихожей, выскользнул, поднялся на свой этаж. Позвонил. После долгого перерыва из-за двери донеслось:

— Кто там?

— Двадцать минут прошло.

Дверь открылась. Алисон собрала волосы в пучок и завернулась в полотенце; шоколадные плечи, шоколадные ноги. Убежала обратно в ванную. Забулькала вода в сливе. Я крикнул:

— Мне сказали, чтобы я к тебе не клеился!

— Мегги?

— Говорит: не люблю мордобоя.

— Корова гнойная. Может стать моей золовкой.

— Да знаю.

— Изучает социологию. В Лондонском университете. — Молчание. — Уезжаешь и думаешь, что за это время люди изменятся, а они все те же. Глупо, правда?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Подожди минуточку.

Я подождал, и не одну. Наконец она вышла. Простенькое белое платье, волосы снова распущены. Без косметики она была в десять раз красивее.

Улыбнулась, закусив губу:

— Ну как?

— Королева бала. — Она не отводила глаз, и я смешался. — Спускаемся?

— Нaley на доньшко.

Я налил как следует. Глядя, как виски течет в бокал, она проговорила:

— Не знаю, почему я боюсь. Почему я боюсь?

— Чего боишься?

— Не знаю. Мегги. Ребят. Землячков своих ненаглядных.

— Тот мордобой вспомнила?

— Господи. Дурость полнейшая. Пришел клевый парень из Израиля, мы просто целовались. На пьянке. Больше ничего. Но Чарли стукнул Питу, они к чему-то прицепились и... Господи. Ну, знаешь, как это бывает. Мужская солидарность.

Внизу нас поначалу оттеснили друг от друга. Всем хотелось с ней поболтать. Я принес выпить и передал ей бокал через

чье-то плечо; речь шла о Канне, о Коллиуре и Валенсии¹. В дальней комнате поставили джаз, и я заглянул туда. Темные силуэты танцующих на фоне окна, за которым — вечерние деревья, бледно-янтарное небо. Я остро ощущал, как далеки от меня все эти люди. Из угла робко улыбалась подслеповатая очкастая девушка с безвольным лицом — из тех доверчивых, начитанных созданий, какие назначены на поругание разным мерзавцам. Она была без пары, и я понял: это и есть англичаночка, которую Маргарет приготовила для меня. Губы слишком ярко накрашены; в Англии таких что воробьев. Отшатнувшись от нее, как от пропасти, я пошел обратно, сел на пол, взял с полки книжку и приворвался, что читаю.

Алисон опустилась на колени рядом со мной.

— Что-то я расклеилась. Вредно пить виски. На-ка.

Это был джин. Она тоже села на пол, а я покачал головой, думая о бледной англичанке с вымазанными помадой губами. Алисон хоть настоящая; без затей, но настоящая.

— Молодец, что приехала.

Она хлебнула джина и посмотрела оценивающе.

Я не отставал:

— Читала?

— Будь проще. Книги тут ни при чем. Ты умный, я красивая. Дальше подсказывать?

Серые глаза издевались. Или молили.

— А Пит?

— Он летчик. — Она назвала известную авиакомпанию. — Бывает редко. Понял?

— Ну да.

— Сейчас он в Штатах. На переподготовке. — Уставилась в пол, на миг посерьезнев. — Мегги врет, что я его невеста. Ничего похожего. — Быстрый взгляд. — Полная свобода рук.

Кого она имела в виду: меня или своего жениха? И что для нее эта свобода — маска? символ веры?

— Где ты работаешь?

— Когда как. В основном сфера обслуживания.

— В гостинице?

¹ Упоминание о Коллиуре и Валенсии в связи с Алисон — прямая отсылка к персонажу предыдущего романа Фаулза «Коллекционер» Миранде Грей, которая вспоминает о поездке в эти места со своим приятелем Пирсом.

— Не только. — Поморщилась. — Меня тут берут в стюардессы. Потому я и ездила во Францию и Испанию — практиковаться в языке.

— Сходим куда-нибудь завтра?

На дверной косяк навалился амбал австралиец, лет за тридцать.

— Да ладно, Чарли! — крикнула она. — Он просто уступил мне ванну. Успокойся.

Медленно кивнув, Чарли погрозил заскорузлым пальцем. Принял вертикальное положение и, пошатываясь, скрылся.

— До чего мил.

Она разглядывала ладонь.

— Ты вот сидел два с половиной года в японском лагере для военнопленных?

— Нет. С какой стати?

— Чарли сидел.

— Бедный Чарли.

Мы помолчали.

— Пускай австралийцы жлобы, зато англичане — пижоны.

— Ты не...

— Я над ним издеваюсь, потому что он влюблен в меня, и ему это приятно. Но другим запрещаю издеваться над ним. В моем присутствии.

Опять молчание.

— Прости.

— Ладно, проехали.

— Так ты ничего не сказала про завтра.

— А ты ничего не сказал про себя.

Постепенно, хоть я и обиделся на преподанный мне урок терпимости, она заставила меня разговаривать: задавала прямые вопросы, а мои попытки отделаться пустыми фразами пресекала. Я рассказал, что значит быть генеральским сынком, рассказал об одиночестве — на сей раз гонясь не столько за тем, чтобы произвести впечатление, сколько за тем, чтобы объяснить подходчивей. Мне открылось, во-первых, что за бесцеремонностью Алисон — знание мужской души, дар виртуозного льстеца и дипломата, и, во-вторых, что ее очарование складывается из прямоты характера и веры в совершенство собственного тела, в неотразимость своей красоты. Порой в ней проявлялось нечто антианглийское — достоверное, истовое, неподдельно участли-